

Алексей Ивин

---

**Квипрокво, или  
Бракосочетание  
в Логатове**

Алексей Ивин

**Квипрокво, или  
Бракосочетание в Логатове**

«Издательские решения»

**Ивин А. Н.**

Квипрокво, или Бракосочетание в Логатове / А. Н. Ивин —  
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-742348-3

Роман «Квипрокво, или Бракосочетание в Логатове» написан в 1982 г.  
На основе любовной фабулы в гротескно-фантастическом виде изображена  
жизнь провинциального города эпохи «застоя».

ISBN 978-5-44-742348-3

© Ивин А. Н.  
© Издательские решения

# Содержание

Часть первая, от автора	6
Конец ознакомительного фрагмента.	34

# Квипрокво, или Бракосочетание в Логатове

## Алексей Николаевич Ивин

© Алексей Николаевич Ивин, 2015

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru

Роман написан в 1982 году. Фамилия одного из героев – Ходорковский. Прошу прощения у известного заключенного, но герой получил фамилию в честь одного моего знакомого, студента, с которым я играл в шахматы в 1980 году в поселке Молочное под Вологдой. Если это одно и то же лицо – ну, что ж! Романы надо публиковать вовремя, господа книжные издатели.

Когда вы травите писателя или завидуете ему, вы подумайте, стоит ли. В чем, по какому пункту завидовать Есенину, умершему при живом деде, Сервантесу без руки, в плену и в тюрьме, Эдгару По на садовой скамье, М. Горькому пешком по Руси, бесприютным Хлебникову, Маяковскому и И. С. Тургеневу с их «шведскими» семьями, холостяку и приживальщику Гоголю с его аж пятью (!) сестрами, сосланным, изгнанным, казненным Достоевскому, Бунину, Данте, побиравшемуся и слепому Гомеру, слепому изгнаннику Джойсу, затворнику Прусту, многодетному Толстому, вечному труженику без семьи Бальзаку. Может, вы и Шекспиру завидуете, о котором не известно, был ли он, и Аввакуму в горящем срубе? Не лучше ли было сразу воздать этим людям? Тогда бы они не воспользовались своим правом высказаться. Почему, спрашивается, не дали порулить богатой колесницей Гомеру? Он бы не пел, он бы рулил.

Вот и нечего на меня злиться, господа издатели. Сами же держите меня впроголодь.

Роман **«Квипрокво, или Бракосочетание в Логатове»** отвергли издательства «Олма-Пресс» (О. Дарк, Б. Н. Кузьминский), «Московский рабочий» (В. Леонов, И. Голотина), журнал «Новый мир» (Н. Долотова, Александр Рыбаков), издательство «Вагриус» (А. Костанян), журнал «Новый мир» (О. Новикова, Р. Т. Киреев), издательство «Вагриус» – «Фонтанка» (Н. Санина), «Ад маргинем» (А. Иванов, М. Котомин), «Аграф» (О. А. Разуменко), «Локид» (Л. А. Захарова), «Сова» (В. Х. Катаев), имени Сабашниковых (С. М. Артюхов), «Академический проект» (А. А. Аншукова), «АСТ» (Н. А. Науменко).

*Алексей Ивин*

## Часть первая, от автора

### 1

Таисье с ее-то опытом некого было обвинять и не на кого злиться: сама виновата, что так опростоволосилась; надо было сразу разглядеть, что за фрукт этот Ионин. Но кто бы догадался, что эти медовые речи – сплошная ложь, от начала до конца; все получилось так естественно! Пришел с утра (была суббота); потоптался у порога, отрекомендовался Катюшиным двоюродным братом.

– А что, не похож? – улыбнулся подкупающе. – Ей-богу, вот те крест святой, всего три дня, как дембельнулся, не веришь? – Он ее сразу на ты стал называть, без мыла в душу влез. – Фотографии могу показать. Правда, они дома. А служил знаешь где? На Курилах. Рыбы там, креветок этих... нам вместо каши вареных креветок давали.

И пошел городить – не знаешь, то ли верить, то ли нет. Потом она убедилась, что он актер, мистификатор и на него иногда находит этот мистификаторский стих – подделается под кого хочешь, навдумывает с три короба, да так естественно, что поневоле залюбуешься. Впрочем, она и тогда догадывалась, что он ее одурачивает, сама согласилась обмануться, потому что в тот день сильно скучала. Ну, и она тоже слукавила – сказала, что Катюшу отправили в колхоз на два дня. В порядке шефской помощи. Огорченным он не выглядел, сказал:

– Ах, жалость какая! Хотел с сестричкой повидаться. Ну, ничего, она мой адрес знает, а я теперь знаю ее...

Только и всего. Убедительно? Пожалуй. Ей было решительно все равно, лишь бы он у нее задержался, этот обаятельный молодой человек, – на языке сахар, под языком яд. Не то чтобы он улещал ее, нет; он всего лишь любовался ею, он сразу разглядел в ней хорошенькую женщину; а когда, к тому же, поколебавшись, достал из портфеля бутылку фетяски и предложил выпить за знакомство, она укрепилась в мысли, что нравится, повеселела.

– Катюшке мы оставим понюхать пробку, – сказал он и рассмеялся; так и сказал, по-родственному, – К а т ю ш к е, словно она и впрямь была его кузиной. Ох, актер, Кин доморощенный! А может быть, все получилось так именно потому, что он ничего от нее не требовал. С необязательной легкостью болтал о том о сем, простодушно признался, что она ему нравится, и, казалось, ни к чему большему не стремился, кроме как попивать винцо и разговаривать. Именно потому, что он нисколько не претендовал на нее, она дорожила им, а может быть – возможностью порисоваться. Даже сердце щемило, что он вскоре уйдет, оставив ее наедине со своей тоской. Когда он все же засобирился, она сама вызвалась его проводить.

Пока переодевалась для прогулки, он, выдворенный в кухню, гадал, оскорбится она или нет, если он потихоньку улизнет. Не следовало бы заводить шашни, ох, не следовало бы! Он досадовал (такая черта: скупость), что выпили вино, привезенное сегодня из Москвы, где он сдавал экзаменационную сессию за второй курс, и предназначенное для Катюши, потому что в логатовских магазинах невозможно было купить марочных вин. Но от него не укрылось, какое впечатление он произвел на Таисью. Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Либо Таисья не проболтается, либо ей не поверят, либо он оправдается тем, что, пользуясь случаем, знакомился ближе с «логатовской аферисткой».

Они отправились без цели и забрели на старое кладбище. Заросшее огромными тополлями, заглушенное травой, оно хранилось островком богобоязненного покоя среди обступавших его девятиэтажных жилых коробок. Перекошенные ветхие кресты, опутанные гирляндами стародавних пыльных жестяных цветов (где кладбищенская служба?), мирно соседствовали с остроконечными памятниками, увенчанными облупившейся звездой; над могилами летали бабочки. Через пролом в заборе проникнув на кладбище, они блуждали по извилистым тропинкам, читали надгробные надписи, грустили. От того, что вот здесь, под ногами, лежали кости людей, некогда облеченные плотью, оба чувствовали помимо грусти еще и странное умиротворение и новую жажду полнокровной жизни, словно мертвецы, напомнив им о красоте бытия, призвали их жить свободно и дерзко. И если порознь они оскудевали и сиротели перед лицом смерти, то вместе спасались от сиротства, и к ним возвращалась надежда. Они оказались (увлеклись осмотром) в дальнем запущенном уголке, разыскивая, где бы присесть, не оскорбляя мертвых хозяев и скорбящих гостей любовным уединением, и обнаружили узкую скамью, встроенную меж двух берез. Здесь было тихо; лишь из-за забора отдаленно шумели грузовики, да над головами щебетала птаха. Но именно в эту минуту тишины и уединенности равнодушные к тому, что ее так бессовестно разыгрывают, сменилось досадой, желанием безусловного, безраздельного доверия и Таисья съязвила, что, по всем приметам, она т о ж е помаленьку проникается к нему сестринскими симпатиями. Не хлопотно ли ему будет с двумя-то кухнями? Ионин усмехнулся.

– А я думал, ты лишена женских предрассудков. Давай не будем об этом. Разве ты не чувствуешь покоя и даже счастья? Истина в данном случае ничтожна, а главное – это горькое сознание, что все мы смертны, и некому нас пожалеть. И потом, неужели бы я стал обманывать тебя, если бы ты не понравилась мне, и я не боялся тебя потерять? У меня не было другого выхода, вот и все.

– Убедительно сказано. – Этот тонкий разговор возбуждал Таисью. – Меня-то ты, допустим, убедишь, а вот как быть с совестью? И как ты оправдаешься перед своей пассией, если я все расскажу ей? Причем в тех же соблазнительных выражениях? По-моему, как ни финти, а – паршиво, признайся! Ты ведь не передо мной —ты перед н е й и перед своей совестью оправдываешься.

– А ты умница! – сказал Ионин с искренностью, которая не могла не польстить; впрочем, он на то и рассчитывал. Более того, в нем впервые зародилось стремление, впоследствии чрезвычайно частое, – бессознательно унижать Катюшу, заглазно очернять ее. – Тайные мысли читаешь! Не потому ли тебя и муж-то оставил?

– Откуда у тебя эти сведения? О н а написала? – Таисья всегда с удовольствием говорила о себе и обрадовалась поводу. – Вижу, что она. Меня многие бранят, что мужа и ребенка бросила, что, дескать, мать в клинике для душевнобольных держу; чего только не наплетут. Но, во-первых, с мужем мне действительно не повезло: попался какой-то рохля, запил в первый же год, даже драться пробовал. Ну что это за мужчина – глуп как пробка, а претензий... Я да я, а сам экспедитором на почте работал; вот и вся его карьера. Теперь-то я ни за что не вышла бы за него замуж, а тогда мне еще двадцати лет не исполнилось, глупая была. Культпросветучилице закончила и в том же году замуж вышла. Намучилась я с ним, воспитывала, ухаживала, да все без толку: человек был абсолютно не способный к развитию. Ничего не читал, ничем не интересовался. В общем, через четыре года развели нас, мне аморальное поведение пришили. Он Андрейку у себя оставил, думал, что я с ним снова сойдуся. Ну, такой-то швали,

как он, и по канавам много валяется. Андрейка попеременно то у него, то у меня живет. Одаренный ребенок, между прочим. Вот такие дела... – Ионин по-новому взглянул на «логатовскую аферистку»: после исповеди она несколько полиняла; прежняя кокетливая и, казалось, счастливая женщина была желанна, недоступна и восхищала, а теперешняя, умная и несчастная, хоть и стала ближе, вызывала только сострадание. Угадав, как отпечаталась ее история на Ионине, Таисья равнодушно улыбнулась. – А что касается матери, здесь моей вины и вовсе нет. Мне еще не было и пятнадцати, когда она впервые попала в больницу. Шизофрения. Отец был изверг (прости господи!) каких поискать: скандалил день и ночь. А у матери – работа: она считалась лучшим педиатром в городе, пока не заболела. К ней даже на дом ходили с подарками. Ее иногда отпускают из больницы недели на две, потом опять увозят...

Ионин встал и отвлеченно оглядел окрестные кресты. Разговор получился грустный. Таисья, крепкая, чуть мешковатая в своем вельветовом, несмотря на жару, старомодном платье, тоже встала и по-детски, по-домашнему потянулась, согнув руки в локтях и присев. Ионин почувствовал, что знает ее уже давно и близко, эту неприбранную усатенькую женщину, и представил ее и себя в ее «будуаре», где на низенькой двуспальной кровати, покрытой аквамаринovým пикейным смятым одеяльцем, валялись раскрытые книги и в футляре полутораметровых настенных часов за темным стеклом бесшумно и мерно раскачивался маятник. Она доверчиво заглянула снизу ему в глаза и сказала:

– Вернемся ко мне? У меня тоже есть бутылка сухого, я хочу тебе ее подарить. И не возражай! Я знаю, что ту ты хотел выпить *с н е й*.

– Не надо даров, Таисья... Боюсь данайцев...

– Ой ли? Я ведь видела, что ты дрожал за каждую каплю.

На Таисью решительно нельзя было сердиться, даже когда она разоблачала. Она не осуждала ни за скупость, ни за вранье, констатировала, и только; перед любым другим человеком, даже (и особенно!) перед Катюшей, вздумай она столь бесцеремонно уличать, он возмутился бы, заупрямился и заврался. Таисье же был даже признателен за то, что она избавляет его от необходимости лгать. Между ними установилось полное взаимопонимание с первой минуты и надолго.

## 2

Расстались в три часа пополудни, разоткровенничавшись до неприличия. На следующий день должны были встретиться снова, но Ионин, боясь прогневить Катюшу (зная характер), наложил на себя епитимью и не пошел на свидание. Доступ в Таисьины пятистенки теперь для него закрылся (так казалось). Он выждал воскресенье (скоротать его помогли Синева), а в понедельник с утра отправился на фабрику, решив по возвращении оттуда зайти в редакцию логатовской газеты, чтобы определиться на работу: там его всегда охотно принимали, потому что летом, в период отпусков, требовались сотрудники, а он не прочь был подработать, хотя Серафима Ивановна пеняла, что он не хочет отдохнуть на полном ее попечении.

## 3

Когда Катюше передали, что ее спрашивает «красивый молодой человек», она поняла, что это он. В белой косынке, озабоченная, как вести себя с ним, она пересекла шумный цех,

на ходу вытирая руки, изрезанные пряжей, и вышла в вестибюль. Ионин сидел в углу за кадучкой с фикусом, радостно поднялся навстречу. Она холодно произнесла:

– А, приехал...

– Да вот... Как говорится: подъезжая под Ижоры, я взглянул на небеса...

За шуткой скрывалась обеспокоенность, он понял, что Таисья не совладала со своим женским торжеством, и ему предстоит неприятное объяснение.

– Пожаловал в гости к сестре...

– Ей-богу, не виноват: что еще я мог соврать на ее расспросы?

– Ничтожество!

– Зачем так, Катюша...

– Она мне все рассказала.

– Все-все? – недоверчиво переспросил он.

– Да, представь себе – все! Я ее, конечно, послала к черту, потому что догадалась, в чем дело. Одного только я не понимаю: зачем ты это сделал?

– Да что я сделал-то?

Вопрос оставлен без ответа. Дальше очень взвинченно:

– Зачем ты даешь повод всякой дряни компрометировать меня? Неужели тебе не стыдно? Неужели я настолько низко пала, что со мной можно так обращаться? Неужели я для тебя всего лишь подопытный зверек, над которым можно производить всякие грязные опыты? И ты еще смеешь после этого показываться мне на глаза? Какой же ты негодяй! Уходи! Не хочу тебя видеть...

Оскорбленное чувство, это надо понимать. Катюша заплакала гордыми, злыми слезами, стыдясь и отворачиваясь, но тут же овладела собой, чтобы он не думал, что она заплачется и простит: примириться так быстро и первой она не хотела, растравляя обиду, ожидая удовлетворительных объяснений и надеясь, что Таисья сильно приврала, лишь бы досадить ей.

Ионин затруднялся, не унижаясь, не кривя душой, не возводя напраслину на Таисью и не оскорбляя Катюшу, рассказать обо всем. Да и что было?

– Успокойся. Не надо истерик, ради бога. Выслушай меня. – Он взял ее за руку, которую она с отвращением отдернула. Это его разозлило. Чувство вины исчезло. Раз от него требуют покаяния, он не станет каяться. Сдерживаясь, чтобы не наругать, сказал: – Да, я был у нее. Да, пил вино, когда узнал, что тебя нет. Да, мы гуляли и целовались! Да, да, да! – Теперь уже у него истерика. – Тысячу раз да! Все, что она наговорила, все было! А если ты не переменишь тон, я вообще отказываюсь отчитываться перед тобой. Я не обязан это делать...

Ожесточался с каждым словом. Заносило, бунтовал, как всегда, когда покушались на его свободу. Правдолюбивый ответчик перед единственным истцом – перед самим собой. Идет выяснение отношений с потерей нервных клеток. Что предпримет другая сторона? Другая сторона страдальчески улыбается:

– Целовался?.. С ней?! С этой недотыкомкой? Bravo! Ха-ха, bravo! – Затем опять нагнетение пафоса (такой характер): – Рыцарь! Джентльмен! Одной пишет, что любит, а с другой спит! Аристократ, чистюля – и с кем? С этой... – Не может подобрать хлесткого слова; ну наплевать! – дальше: – А я-то, глупая, хотела выйти за него замуж, чтобы не канючил. Жалела его, несчастного, закомплексованного, «гениального». – Уничтожающая градация, затем еще одна: – Ничтожество, бабский угодник, пустомеля! Смешно подумать – гений! Липнет к каждой сифилитичке, а туда же... До чего же я была глупа...

Борьба самолюбий, ничего не поделаешь. Каждое слово начинено ядом и желчью. В негодовании Катюша даже не заметила, как проговорила, выдав желаемое за действительное, когда, намереваясь больше уязвить его, сочла, что и для него обручение столь же желанно, как для нее. Ионин использовал ее ошибку; он-то хорошо помнил, что никогда не говорил и не писал ей о своей любви и тем более о женитьбе, если не считать нескольких туманных витиеватых фраз, которые можно перетолковывать как угодно. В запальчивости она переходила всякие границы. Это надо же – так его чехвостить, словно собственного мужа!

– Во-первых, – он вскипает чайником. Из рта, как из конфорки, валит горячий пар, – я не позволю так отзываться о Таисье. Ты ее плохо знаешь: это чистая, добрая и правдивая душа. Во-вторых, я еще, слава богу, свободен в своих поступках. Избави меня бог от такой супруги, даже если бы я и был расположен жениться. Другое дело, что этого хочется тебе. – А вот это уже зря, это уже клевета. Но его заносит, горяч, слепнет от самолюбия. А когда заносит, он легко переступает границу самоуважения. Из этой пары не получатся старосветские помещики. – Я ведь для тебя подходящая партия. Честолюбие-то дамское: раз-два – и в дамки. Гений не гений, а перспектив больше, чем на фабрике. Через тернии к звездам. Не хочу быть простою крестьянкою, а хочу быть столбовою дворянкою! Я для тебя лишь нижняя ступенька на лестнице в небо. А мне такие расчетливые особы не нужны, я сам рассчитываю кое на что. Таисья для тебя дерьмо; все люди – навоз, только ты жемчужина. Так или не так? Кто же из нас двурешник? Кто подопытная свинка? Кто кого унизил? Она, видите ли, думала облагодетельствовать меня, согласившись выйти замуж. Да это я, я снисхожу до того, что встречаюсь с тобой, несмотря на все твои козни. На твоём жаргоне это простое проявление благовоспитанности называется «канючить». Да на фиг ты мне сдалась, если на то пошло! – (Грубо, ох грубо, даже если «на то пошло»). – Зачем я приехал, радостный, с открытой душой? Чтобы терпеть эти унижительные сцены? Поплачь о своих воздушных замках, а я ухожу. Прощай!

Он и не думал уходить, но слово не воробей: произнесено. Глубокое падение, характер тоже отнюдь не сахар. Медлит, ждет, что предпримет противник. Медлит, хотя вид потрясенной Катюши свидетельствует об убедительности его вероломных эскапад, добывается полной капитуляции. Забывает (никогда и не знал об этом), что женщина капитулирует только под ласками.

– Какой же ты негодяй!

Катюша, чувствуя, что в теле разливается сухой лихорадочный жар, стремительно вышла, потому что вдруг поняла, что теперь у нее хватит решимости порвать с Иониным. «Я отомщу ему, я – отомщу – ему!» – думала она в полуобмороке, сладко, безысходно жалея себя за физическую слабость и жадно устремляясь к рабочей аптечке – за валерьянкой.

Ионин стоял еще некоторое время, собирая разбросанные чувства; его трясло.

– Встретились! – пробормотал он и смачно сплюнул в кадку с фикусом.

Возвращаясь домой, понял (дошло), что погорячился. «Как в басне: поспорили две яблони, которая из них лучше, и засохли; пришел садовник и обе срубил, – думал он, по обыкновению синтезируя после опыта. – Что ни день без любви, то ближе коварный садовник.

*Непостижимы судьбы царств земных,  
Эпохи процветанья и паденья;  
Немыслимо печален путь, которым  
Мятущийся проходит человек! —*

сказал невидный желтолицый кореец. Но почему, почему я хотел только одного – беспрекословного, рабского подчинения? Кто мне ответит? Эсхатология?»

4

Разгоряченный, он забыл, что нужно в редакцию, опомнился только в подъезде своего дома. Еще раз плюнул с досады и повернул обратно.

Конечно, он мог бы безбедно прожить два каникулярных месяца на матушкином иждивении, тем более что не любил журналистскую работу. Не ценил. Строчил об успехах сельского хозяйства, промышленности и культуры, но подписывался псевдонимами, точнее – фамилиями своих врагов. Зато, сотрудничая в газете, он – не без редакторского сопротивления – публиковал подборки своих стихов и короткие рассказы, вознаграждаясь за вынужденное лакейство; однажды даже напечатал отрывок из повести, озаглавив его «Свет в августе», чтобы проверить, читал ли кто-нибудь в городе Фолкнера, но никто не заметил его мистификации и в плагиате не упрекнул, а на следующий день на базаре услужливый грузин, у которого он купил килограмм слив, завернул их ему в газетный кулек с его шедевром. Ни дохода, ни признания журналистика не приносила, но всякий раз, уже дважды, принятый на должность, он надеялся гальванизировать печатный труп, хотя уже через неделю выяснялось, что совместить предписания горкома, объективной действительности и собственной совести не сумеет. Мечтатель. Впрочем, он чаще отлынивал, чем работал, как и большинство сотрудников, кроме двух стариков сталинской закалки, еще веривших в правое дело и потому громивших пережитки капитализма. За два месяца он нравственно и физически опускался, закаивался, что больше никогда не вернется на это торжище лжи, а на следующий год опять шел, потому что больше некуда было пойти. На этот раз он решил договориться лишь о внештатном сотрудничестве и публикации своих стихотворений.

Редактор, толстенький, короткий сытый человек по прозвищу Пингвин, принял его у себя в кабинете и сразу предложил заведовать сельхозотделом: прежний заведующий совсем недавно уволился со скандалом, допустив критику в адрес секретаря горкома по идеологии.

– Помилуйте, Константин Васильевич! На два-то месяца?

– Разве ты в первый раз нам помогаешь? Мы тебя и оформлять не будем. Согласуем твою кандидатуру с горкомом, и все. Но пока мы не подыскали нового зава, ты должен нам помочь. Дело ты знаешь... Кстати, в субботний номер на четвертую полосу требуются стихи.

– Если позволите, я дам свои...

Ионин не догадывался, что ему расставляют ловушку и что у Пингвина есть особые причины спешить и задабривать, ибо не далее как в пятницу в горкоме его пропесочивали за то, что газета плохо освещает ход кормозаготовительной кампании. Покоренный благодушной сговорчивостью редактора, полный новых демократических и просветительских иллюзий, Ионин сказал, что подумает.

– Ну конечно, конечно... Но время не ждет. Итак, до среды. И не забудьте стихи.

И так уже два года: то «ты», то «вы». Редактор встал, опираясь тугим животиком о кромку стола, любезно протянул короткопалую веснушчатую руку. Ионин вышел из кабинета очарованный: ласка и тонкое обхождение начальства превратили его из ниспровергателя основ в кроткого овна. Однако он еще не знал определенно, примет ли предложение.

Дело в том, что, кроме необходимости писать вздор и приноравливаться (районная газета, конец семидесятых), его смущало еще одно обстоятельство: он узнал между прочим от Таисьи, что она тоже работает в редакции; тогда это обрадовало его как новая тема задушевного разговора, но теперь, игнорируя воскресное свидание и зная к тому же, что Таисья проболталась, он не хотел встречаться с ней.

Он прошмыгнул по коридору незамеченным, но, спускаясь по лестнице, все-таки столкнулся с Таисьей, которая, с сумкой через плечо и накрашенная сверх всякой меры, озабоченно поднималась снизу.

– О, привет! – воскликнула она, задорно улыбаясь красными, как у арлекина, губами. – Ты зачем приходил?

– Устраиваться на работу... – пробурчал он, протискиваясь вперед.

– На работу? Ах, да, ты же говорил. Зайдем на минутку ко мне – расскажешь...

Войдя в кабинет как в свою спальню, она бросила сумку на кресло, закурила сама и предложила ему.

– Спасибо, не курю.

– Я дома тоже не курю, а на работе... Ты знаешь, я наверно скоро отсюда уйду. Такая тоска! По статистике среди журналистов и поваров самый высокий уровень смертности. Пишешь какую-то казенную чепуху, скребешь пером...

– Увольняйся, что же тебя держит?

– Я рада бы не работать, да заставляют. Ты думаешь, я сюда подалась по собственной охоте? Как бы не так! Пришел фараон: если, говорит, не устроишься на работу, мы тебя к суду привлечем за уклонение от трудовой повинности. Я ему говорю: какая же повинность? Ведь у нас труд – право, а не повинность. А он: ты, говорит, у меня дорассуждаешься! Манеры-то у них сам знаешь какие, у этих блюстителей. Тебе смешно, а мне какво?! Сидишь тут как сыч, высиживаешь какую-то разнесчастную сотню рублей; да я на любой иконе заработаю в пять раз больше! Ну ладно, ты-то как? Принял тебя Пингвин?

– Я еще не решил. В среду окончательно договоримся. Предлагает сельхозотдел.

– Поздравляю! Соглашайся! Вдвоем веселее. Да и Пингвин остепенится, а то ведь совсем обнаглел: пристаёт средь бела дня. Ей-богу! В четверг после планерки приглашал на туристскую базу, в финских банях, говорит, попаримся. Каков наглец! Ты знаешь, какие они там концерты задают? Настоящий вертеп, с водкой, с голыми бабами. Мне бы давно уже какую-нибудь статью пришили, а ему ничего, все с рук сходит, силу этому. Все они такие...

– Ну, это дело его совести. Не надо по одному судить обо всех. Да, кстати, ты уж меня извини, что не пришел.

– А я знала, что не придешь. Ничего. Ты ведь свободный человек. Да я не сержусь, я все понимаю. Ты меня тоже извини: на днях совершила маленькую подлость. Не догадываешься? Похвастала перед твоей, что ты приходил... Рассказывать, что ли?

Таисья, досадуя, что он не поощряет ее искренность, последние слова произнесла раздраженно.

– Расскажи, если хочешь, – равнодушно одобрил Ионин. – Впрочем, мне уже досталось. Как вы только уживаетесь, вот что меня удивляет.

– Да вот так и живем. Я тоже думала об этом; и ты знаешь, похоже, что друг без друга мы уже не можем. Ты вот считаешь, что я ее не уважаю? Еще как уважаю-то! Вплоть до того, что ревную. Ну, так вот: приезжает она... не из колхоза, но это без разницы. Радостная. Спрашивает: «Ко мне никто не приходил?» – так, словно бы между прочим, а у самой ушки на макушке. Ладно, думаю, все равно от тебя благодарности не дождешься за добрую весть. «Да, – говорю, – приходил, кузен твой, с Курильских островов. А может, с Анtilьских. Жалел, что тебя дома не застал». – «Какой кузен? – спрашивает. – Отродясь у меня никаких кузенов не было. Есть какой-то троюродный, да и тот на Сахалине, а не на Курильских островах». – «Тот самый, – говорю ей. – Интересный молодой человек. Выпили мы с ним. Тебе пробку оставили понюхать». А она: «Иди ты, – говорит, – к черту!» Весь день на меня дулась, как мышь на крупу. Потом мне, правда, стало совестно, я утешать ходила, но она заперлась; ну, тут уж и я разозлилась, вместо утешений-то наговорила грубостей. Третий день не разговариваем. Я, наверно, злая, да, Ионин?

– Нет. Я сам виноват: не хватает внутреннего достоинства.

– А ты больше не связывайся со мной, ладно? – Таисья подначивала, подзадоривала. – Я ведь опасная, аферистка и вообще – женщина легкого поведения. Так или не так?

– Не юродствуй, это тебе не к лицу. Если хочешь знать, слухи без повода не возникнут. Сама ведь говорила про редактора, что он развратник, да еще с подробностями; изволь теперь принимать его ухаживания. Рыбак рыбака видит издалека.

– Значит, и ты считаешь, что...

– Я ничего не считаю, а просто хочу, чтобы ты не зарывалась.

– Ага, обиделся, что разыграла Катюшу? А мне не обидно было, когда ты подкатил этим фанфароном? Давай не будем устанавливать объективную истину, а то и тебе перепадет. Я-то, положим, сплетница, а ты вообще подлец. Что, не так? Не чувствуешь, что немножко подличаешь, а?

– Иди ты к черту!

– Вот! И этот к черту посылает. Что за народ! Верно говорят старухи: совсем люди осатанели. Да постой ты! Самое-то главное не узнал: я ведь в твоём отделе корреспондентом буду; Пингвин тебе не сказал? Так что никуда ты от меня не денешься...

– Ладно. Поживем, увидим. До встречи. – Он дружелюбно улыбнулся и уже в дверях, отквитываясь за все насмешки разом, сказал? – Я, может, в среду откажусь от должности – чтобы не подличать...

## 5

На следующий день Ионин готовился (с половинной надеждой, как рыболов от одной удочки к другой) пойти и еще раз поговорить с Катюшей, такой прилипчивый человек. Если опять неудача, наплевать: у него еще Таисья в запасе (и запасливый). Но по распространенному среди людей перекошенному неравноправию, по которому возможно, что жена неистовой влюбляется в мужа, почуяв любовницу, Катюша сама позвонила с работы и предложила встретиться вечером. «У меня нет достоинства, но и у нее немного», – подумал он, кладя трубку.

Днем он снова посетил Синевых и там познакомился с Ходорковским. Говорили о летающих тарелках, о парапсихологии, столоверчении и тому подобном. Ионин любил окунаться в мистический туман: религия, Бог, астрология и (уж кстати!) Тайлор, Владимир Соловьев, Чижевский. Обо всем понемногу, с пятого на десятое. Эклектика. Чесание языка. Ему казалось иногда, что хотя он всю жизнь боролся за независимость, он кончит тем, что станет безжалостно лупить детей за непослушание и с сознанием гражданской ответственности опускать в урну избирательные бюллетени за кандидатов, которым не грозит провалиться, – и это в такой мере банальное и всеобщее перерождение, что его следует принять без всяких сетований, как смену времен года. Ионин говорил, что мистицизм – своеобразная форма протеста, и модное увлечение оккультными науками свидетельствует о растерянности интеллигенции. Ходорковский поддакивал. Ионин был польщен: еще бы, ведь у Синевых с ним нечасто соглашались; он даже подумал, что наконец-то нашел единомышленника, способного примерять, примирять или отвергать крайние точки зрения, а не однобокого начетчика.

Вечером, с Катюшей, он дружелюбно отозвался о новом знакомом. Он и не предполагал тогда, что она им (а он ею) заинтересуется, иначе бы не упомянул, что Ходорковский пригласил

его на концерт в музыкальное училище... Не прошло и четверти часа, как они опять поругались по ничтожному поводу.

– Ты одеваешься, как голодранец: пуговицы осыпались, джинсы грязные.

Это Катюша.

Он:

– Ах ты, Боже мой! Разве это имеет значение? Я дорожу своей имманентностью, а не трансцендентным людским мнением.

Она:

– Но ведь неряхе должно быть стыдно, что он неряшлив.

Он, с апломбом:

– Женщинам – да, стыдно, потому что они все показушные, а у меня внутренних красот предостаточно.

Тут Катюша процитировала Чехова – насчет того, что в человеке все должно быть прекрасно. Ионин взъерепенился: лощеным франтоватым красавцем он не был и не будет, презирает показуху и, если уж на то пошло (знакомое выражение!), облачится завтра в рубище.

– А если ты меня стыдишься, если ты тряпичница и конформистка, если тебе дороже принаряженное чучело, тогда нам не о чем говорить.

Это он в дополнение к сказанному.

Катюша вскочила со скамейки (они, как обычно, сидели в городском парке) и выкрикнула:

– А я хочу, чтобы мой кавалер из подполья был не только умен, но и элегантен, иначе я отказываюсь снисходить к его юродским привычкам.

На том и разошлись.

Она раздраженно думала, что он упрямый, эгоистичный мальчишка, позер, ломака, строптивец, который, кроме себя, никого не уважает и никому не уступает, даже ей; что не только полюбить, пожалеть, но и просто поступиться своими привычками ради нее он не способен. А он обвинял ее (мысленно) в мещанских замашках, в близорукой глупости, в угодничестве перед ряжеными плебеями, воспарял, обосновывая свою правоту, до горьких размышлений о всеобщем рабстве и постановлял отныне и навсегда утверждать свою самостоятельность во всем, не взирая на общепринятое мнение; он ощущал себя могучим, дерзким и одиноким богоборцем, байроновским вероотступником Каином: «никогда, никогда, никогда никому, никому, никому ни в чем не уступлю, если это противоречит моим убеждениям!» В этом непримиримом столкновении, в этом идейном споре со всеми, кто не он, прошел оста-

ток вечера, и лишь хорошенько проспавшись, Ионин снова затосковал по людям и по любви, которой от всех требовал, никого ею не наделяя.

Стояло лето тысяча девятьсот семьдесят восьмого года.

6

После ссоры Катюша вернулась домой, но загрустила в одиночестве, вспомнила о концерте и отправилась туда в надежде, что встретит Ионина. Отходчивая.

Но гнев Ионина остыл не так скоро; он даже не вспомнил о концерте. Зато Ходорковский уже был там. Закулисный завсегдатай, он бездельно слонялся среди знакомых молоденьких певичек и музыкантш, взволнованных гомоном публики, а когда надоело, спустился в зрительный зал прямо со сцены, сохраняя горделивую осанку и высматривая миловидных девушек. Катюша безотчетно понравилась ему, и, руководимый смутным влечением, еще не зная, что скажет, он стал пробираться к ней. Катюша неприязненно замкнулась: не любила, когда ею интересовались. Но Ходорковский уже решился штурмовать стену – из упрямства и потому, что отступить было поздно. Вежливо поинтересовался, можно ли к ней подсесть (уже подсев) и не побрезгует ли она его скромным угощением, зачерпнул горсть шелковистых пакетиков жевательной резинки и жестом доброхота протянул:

– Концерт вряд ли будет интересен, а *э т о* хоть немного подсластит ваше разочарование.

«Змий-искуситель, вместо плода – жвачка...» – подумала она, мельком взглянула на дары, сказала: – Благодарю! – изысканно выудила один пакетик, борясь с искушением огрести все, и спросила, из шепетильной благодарности поддержав разговор:

– А почему вы так считаете?

«Не кочевряжится», – подумал он, устремляя любезный левый глаз к изящным губам собеседницы, а взыскующим правым шаря по подолу.

– Я знаком со многими из тех, кто сегодня выступит, – скромно сказал он. – Народ компанейский, но в музыке дилетанты.

– Зачем же вы посещаете их дилетантские концерты?

«Чтобы у меня не переводились такие вот чувихи-меломанки», – это он подумал. А ответил другое:

– Приглашают, неудобно отказывать. И потом, не приди я, например, на сегодняшний концерт...

– Вы не встретились бы со мной? – лукаво дополнила Катюша, а подумала другое: «Вижу тебя насквозь, очковиратель ты!»

– А ведь это в самом деле так, я не встретил бы вас, – покладисто согласился он. – Но оставим это, раз вам неприятно. Вы, должно быть, из интеллигентной семьи? Вижу по... по манерам...

– Из интеллигентной: отец лесоруб в леспромхозе, мать уборщица в школе. Я ведь и сама интеллигентка – Арахна: работаю на ткацкой фабрике.

– Никогда бы не подумал! – полупритворно изумился он, но взгляд упал на ее руки, все в порезах: факт налицо. Катюша сразу поблекла в его глазах: вращаясь среди логатовской интеллигенции, он чурался «простолюдинов», презирал их за вульгарность и пьянство; такая позиция. Однако непомерные амбиции этой гордячки задевали за живое. Арахна, Арахна, слова-то какие знает, демонстрирует интеллектуальный потолок. А вот он, хоть убей, не помнит, кто такая Арахна.

Пока он учтиво справлялся, не занимается ли она самообразованием, не трудно ли на фабрике, ведь там работают такие вульгарные бабы, пока грубовато льстил, она думала, поддаваясь, что напрасно подтрунивает над ним, он красивый парень, этакий белокурый божок, и не беда, что вкрадчив и глуп, зато, кажется, добр; и отвечала дружелюбнее.

Концерт начался, они попримолкли, но, чтобы не остудить взаимный интерес, время от времени перешептывались; сзади на них шикали. Обоим было уже не до музыки, не до шуточек, которые отпускал в перерывах между номерами конферансье Левка Синицын.

– Может быть, уйдем? – осторожно спросил Ходорковский. Он осторожен: перед ним странное явление, фабричная девчонка.

Катюша согласилась.

На улице они вздохнули свободнее и наконец познакомились. Предопределенность, вынужденность, с которой он спрашивал, а она отвечала, угнетали обоих: неполное доверие, этакий холодок. Она его принимает за ловеласа, а он ее убеждает, что она интересна ему как человек. Когда разговор вынужденно прерывался, каждый из них смятенно решал, стоит ли овчинка выделки, не разойтись ли подобру-поздорову, но ему было жаль расставаться с ней (все же заинтригован), а она хотела отомстить Ионину, который так дешево ее ценит. Поэтому оба навязчиво склеивали прерывистый разговор, который, впрочем, оживился, когда Ходорковский упомянул Синева (вот-де с какими людьми контакту).

– О, значит, вы знакомы с Иониным!?! – невольно воскликнула Катюша.

– Да. А вы тоже его знаете? Каким образом?

– Он часто приходит к моей хозяйке, у которой я снимаю квартиру.

«Часто» – лишь небольшое преувеличение, потому что ведь встречались же.

– Он ее родственник? – спросил Ходорковский.

– Он приходит... из других соображений. Она ведь еще довольно молодая, ей тридцать лет. Да вы, вероятно, слышали о ней? Ее фамилия Оссовская, Таисья Оссовская. Личность известная в городе. Богатая невеста, между прочим: дом-пятистенки и сорок тысяч на книжке. Сейчас она работает в редакции, а на досуге спекулирует иконами и дефицитными товарами...

– Не знаю, ничего не слышал о ней, – сказал Ходорковский. – Я и с Иониным-то только сегодня познакомился. Он производит благоприятное впечатление – умен, образован...

– Образован? Пожалуй... Но это страшный человек – фанатик, каких мало: родную мать не пожалеет ради идеи.

Ходорковский благосклонно выслушал уничтожающую характеристику; ему тоже так показалось, но он счел своим долгом смягчить приговор:

– Он еще молод, в молодости мы все фанатики; но он самостоятельный, упорный человек и своей цели достигнет.

Для Катюши эти слова были как елей на душу; она всегда знала об этом, знала, что он прозябает в безвестности только потому, что талантливые люди нынче не в чести. Но, признательная Ходорковскому, она ничего ему не ответила.

Гуляя по вечерним улицам, они по-прежнему ловчили на все лады, говоря подчас противоположное тому, что думали; теперь не время откровенничать, иначе их новорожденная связь, в упрочении которой они были заинтересованы, оборвется; и хотя единомыслия между ними не обнаруживалось, к концу прогулки, в скверике неподалеку от Таисьиного дома они приятельски шутили и договаривались о будущей встрече. Катюше определенно нравилась двойная игра. Ознакомительная легковесная болтовня о музыке, о поэзии, даже о политике была лишь увертюрой к тому моменту, когда они сели на скамью и Ходорковский неловко набросил свой пиджак на ее плечи: свежо. «Сейчас полезет целоваться», – подумала она: игра-то нравилась, но «изменять» не входило в планы. Ах, как все это щепетильно, пошло, под видом заботливости: не холодно ли, тю-тю-тю... Трогательная забота там, где ни на грош любви, и идейная болтовня там, где только любовь, любовь! Несчастный Иона! Каково тебе в китовом чреве, нецелованному, пришил ли пуговицы, как я тебя учила?..»

– Моя дама мерзнет – значит, я плохой кавалер, – сказал Ходорковский, заметив, как ее передернуло.

Ее передернуло еще раз, уже не от холода. Взволнованно промолчала, не зная, возмутиться, подтрунить или убежать, потому что ей вдруг стало не по себе: он был совсем чужд, этот противный робеющий красавец. Знал себе цену, но не был прост, как просты очень умные люди без предрассудков. Вот это слово: предрассудочность.

Ходорковский нервничал: нет контакта, открытости. Загадочное явление, фабричная девчонка. В ее странном взгляде чудилась насмешка: давай, мол, видишь: жду. «Шлюха! – определил он, наконец, непонятное явление. – А я-то, дурак, зондирую почву, распинаюсь об искусстве». Но хороша, красива! И он нагнулся поцеловать Катюшу, да так, чтобы распалить чувственность; уже и губ коснулся, как всплыла догадка: форсирую события...

И в самом деле: Катюша вдруг вскочила, сбросив пиджак и выскользнув из-под занесенной руки, и вlepила ему пощечину.

А вот это уже лишнее, нервное. Причудливая особа, совсем не умеет себя вести.

Секунду они тарасились друг на друга, потом Катюша повернулась и побежала к Таисьиному дому. Бежала в гневе и стыде, пока не оказалась за калиткой под густыми пахучими

акациями. Отворяя тягучую дверь, отчетливо представила (вновь пережила), сколько импульсивной неприязни вложила в удар, и какое лицо было у Ходорковского, – и расхохоталась. Как он выпучился! Зубы, однако, у него плохие – пахнет как из помойки. Дега, Сен-Санс – это ладно, но зачем торопиться? И зачем так о Саше? «Ах, он ведь молод, в молодости мы все фанатики». Румяный балбес, фат. Однако и она тоже хороша, – и непоследовательна, и с нервами не все в порядке. И почему только она такая дура уродилась? В ее возрасте уже семьей обзаводятся, а у нее ни с кем ничего. Если так и дальше пойдет, быть ей старой девой...

Она не знала, что ее опасения напрасны, что в ту самую минуту, когда она бичует себя за своеобразие, Ионин раскаивается в том же, а уязвленный Ходорковский, всё прощая строптивнице за красоту, примеряет и отвергает варианты перемирия (обратного хода). Все они его не устраивали. Одно хорошо: он теперь знает, где эта жемчужина скрывается. Знает ее и Ионин. Не позвонить ли ему завтра с утра – выведать обиняками, что за человек эта Екатерина Малакова? А стоит ли связываться с гордячкой и недотрогой?

Наконец, решив быть последовательно непреклонным и не искать встреч с «гордячкой и недотрогой», Ходорковский вернулся домой, но заснул лишь на рассвете, измученный мыслительным бдением.

## 7

Но даже если бы он и решился позвонить приятелю, то не застал бы его дома: утром Ионин отправился к редактору.

Ну что ж, он согласен поработать, журналистская практика так или иначе пригодится. Однако один он это дело не осилит – готовить материалы, мотаться по деревням; нет, не осилит...

– А мне казалось, Александр Васильевич, что вы с нашим корреспондентом знакомы. – Редактор сощурился. – По-моему, я вас совсем недавно видел вместе? Нет? Ошибся? Значит, обман зрения, это бывает. Ее зовут Таисья Михайловна Оссовская. Кадровый вопрос вообще очень сложен, случаются и промашки. Таисья Михайловна, скажем прямо, ленилась, так что вы, Александр Васильевич, с ней поостроже, добивайтесь, чтобы готовила материалы в срок и добротнo...

Ответственный секретарь ушел в отпуск, его кабинет временно пустовал. Пингвин проводил туда Ионина, еще раз коротко проинструктировал и ушел, решив, как только вернется отпускник, перевести Таисью в промышленный отдел. Что ни говори, Таисья Михайловна интересная женщина, как бы не снюхалась с этим студентиком.

Но едва за ним закрылась дверь, как Ионин уже отправился к Таисье, которая ждала его. Встретились, как старые приятели, как курители гашиша с вожделенной трубкой: молодые люди, друг другу симпатичны. Бессознательно стремились к этому, едва узнали, что *могут* работать вместе, и теперь блаженствовали, Таисья – въяве, Ионин – прикрываясь необходимостью сотрудничества. Сидели за разговором, как двое сластен за тортом (а он убывал), старались есть равнодушно, помаленьку, чтобы продлить удовольствие: вначале говорили о редакторе и редакции, возбуждаясь, если наблюдения совпадали, ловя и продолжая мысли друг друга, потом вообще о жизни, щеголяя (не без того) тонкостью и истинностью суждений и опять распаяясь от их обоюдного свободного сходства, и наконец, когда говорить было не то

чтобы не о чем, а просто незачем, ибо разногласий не обнаруживалось, оба попримолкли, и им захотелось, вместо того чтобы толочь словесную воду в ступе, приласкаться: он обнял бы ее, сидящую, сзади и закрыл сухими знойными ладонями скромное провинциальное декольте, в котором тепло и заманчиво круглилась, образуя ложбинку, молочной белизны шелковистая грудь, а она прижалась бы (отчего не пофантазировать?) к его напряженным стройным бедрам и задохнулась бы под ласками милых, нервных, красивых рук. Однако, поскольку разговор, сближавший их, был съеден, а насыщения не наступило, близость духовного единения распалась, и они, стыдясь признать, что им, двум умникам, весь словесный антураж и нужно было лишь для того, чтобы прикрыть предосудительную похоть, поспешно принялись разъединяться, и границей разъединения стала для обоих мысль о Катюше.

Они болтали уже часа два; близился обеденный перерыв, когда в кабинет вошел Пингвин и, чувствуя, что помешал, в оправдание спросил у Ионина: – Ну как, все нормально? – на что тот поспешно, чтобы отвязаться, почтительно, чтобы соблюсти субординацию, и подробно, чтобы показать, что не лодырничал, и отразить великодушной своей готовностью работать любые обвинения, ответил:

– Да, вполне. Вот познакомился с сотрудницей. Может быть, после обеда съездить в какой-нибудь колхоз?

– Нет, сегодня вы разберитесь с бумагами, составьте список председателей и директоров – словом, входите в курс дела, – ответно свеликодушничал Пингвин, хотя Ионин помешал ему: он намеревался, начав с того, что на завтра нужна информация, полюбезничать с Таисьей или хоть переглянуться. Но при его появлении Таисья с серьезной миной углубленного в работу человека принялась листать записную книжку, задумчиво грызя колпачок авторучки, и Пингвин, встреченный угодливой показухой и замкнутыми лицами, потоптался у порога, как провинциалка на московском балу, и ретировался, решив прийти попозже, когда Таисья останется одна, и унося в душе одинокую, сосредоточенную на заботах календарного плана, диктаторскую тоску. Не та ступень, не тот масштаб, районный, и все же по мере того как он продвигался по службе, сужался круг людей, с которыми бы он чувствовал себя равным (опять же в кругу города). Чего же он добивался, заглядывая вниз? Любви? Уважения? Не распространены ли эти качества вне круга, вне сферы администрирования между равноправными гражданами? Всяк сверчок...

Едва он вышел, за дверью послышались веселые голоса и Таисьиный смех, и хотя слов нельзя было разобрать, он предположил, что злословят о нем; ему захотелось узнать (за информацией приходил), в каких именно выражениях, но это желание он подавил. Он не мальчик за кражей сладостей из буфета, который ему строго-настрого запрещено открывать. И потом, есть такая вещь, как престиж, ступенька лестницы.

А предположение оправдалось бы, доведись ему подслушать, как он смешон, толстенький, пузатенький, с пингвиной походкой, деликатный и закомплексованный. Однако когда он ушел, между Иониным и Таисьей воздвиглась еще одна преграда: им напомнили, что они болтают в рабочем помещении и в рабочее время, поэтому у них, как у должников перед работодателем, возникла виноватая потребность окупить двухчасовое наслаждение и хоть немного написать для газеты.

– Ну что ж, скоро обед. Славно поговорили, – подытожила Таисья и – поскольку, чтобы устранить эту преграду, надо было только назвать ее, – добавила с коротким смешком: – Работать-то будем или нет?

– А зачем? Кому это нужно? – спросил Ионин, и вина, тяготившая их, объявленная вслух, стушеввалась в уголки подсознания по тому же непреложному закону, по какому сообщать не страшно даже на медведя с рогатиной пойти, а не то, что начальство надуть. Разлучаться им не хотелось. Разгоряченная Таисья курила сигарету за сигаретой; в душном кабинете разнообразно воняло, как в отапливаемом вагоне на шестой день пути, а они не замечали ни духоты, ни того, что начальная благородная предупредительная сдержанность давно подменилась эгоистическим душевным стриптизом, той откровенностью, когда дозволены (не замечаются) такие намеки, взгляды и умолчания, которых оба, если бы увидели себя в видеозаписи, устыдились бы.

Таисья предложила отобедать в ресторане, там прилично готовили. Но как только они оказались на улице, опьянение исчезло и, странновато-чужие, они безуспешно искали, о чем заговорить. Ионин увидел, что Таисья не только веснушчата, но и прямо-таки конопата, не только некрасива, но и просто невзрачна – ни фигуры, ни облика, одни неуместные усики; и он окончательно вернулся на исходные позиции трезвой наблюдательности.

В самооценке Таисья заблуждалась: пренебрегая недостатками, преувеличивала достоинства; она знала, например, что она умна, что у нее чудесные рыжеватые кошачьи глаза, стройные ноги и умеренно большая грудь, и считала, что все это неотразимо воздействует на мужчин; однако их столь же неотразимо и неприятно поражали и ее веснушки, и белесые щетинистые усики, позолоченные солнцем, точно мохнатая желтая гусеница, и медные волосы. Рослый, размашистый и развинченный Ионин и невысокая, плотная Таисья рядом выглядели довольно комично, но оба утешались (пребывали в неведении) субъективным сознанием внутренней солидности, ибо ведущими в этой смехотворной паре считали каждый себя, а партнера спешно подгоняли под свои габариты.

В ресторане было многолюдно, свободных столиков не нашлось. Вынужденные подсесть к двум толстым теткам, которые неодобрительно на них косились, они решили не заказывать вина, потому что удовольствие застольной беседы все равно было бы отравлено присутствием посторонних. Обедали, перекидываясь незначительными фразами, по которым нельзя было определить (и не следовало определять), в каких они отношениях, – супруги, любовники, сослуживцы. Ионин замкнулся в непроницаемую скорлупу вежливости (люди кругом!). Таисью это немножко злило, ей хотелось продолжить. И она дала понять теткам, что они газетчики, в надежде, что те уберутся. Но тетки доедали второе и не торопились. Чтобы и безмолвствуя нравиться, Таисья ела понемногу, не жадничая, потому что ее рот был создан для поцелуев, а не для принятия пищи; правда, мизинец она не оттопыривала, потому что это было бы уж слишком жеманно, но не забывала ни на минуту, что должна нравиться.

После обеда они не спеша возвращались в редакцию, но были надолго задержаны одним из тех необычайных происшествий, которые в нынешнем високосном году участились в Логатове.

На перекрестке улицы Восстания и проспекта Мира, на том месте, где еще час назад стояла церковь Преображения Господня, занятая под комиссионный магазин, чернела вывороченными жирными пластами земли обширная яма, а вокруг нее в опасливом отдалении тол-

пились люди и смотрели в небо, жестикулируя и переговариваясь с обстоятельностью гоголевских мужиков, сомневающих, доедет ли колесо до Москвы. Ионин посмотрел из-под руки туда, куда смотрели все, и увидел в небесной голубизне зеленые маковки знакомой трехглавой церкви, которая отсюда казалась миниатюрной, как теремок, и крошечных покупателей, застигнутых таинственным вознесением божьего храма в тот момент, когда они примеряли комиссованные штаны; они суетливо и беззвучно бегали, черные на фоне белых стен, как муравьи на задних лапках, и казалось, что они вот-вот кувыркнутся оттуда. Церковь висела уже давно (прошел час) и неподвижно, так что у зрителей на лицах читалось разочарование, словно только что начавшуюся увлекательную кровавую драку разогнала милиция, а толпе приказано разойтись. Ионин и Таисья, а с ними еще несколько храбрецов, которым наскучило любоваться зрелищем издали, подошли к образовавшемуся котловану, поминутно озираясь вверх в страхе, что церковь упадет им на головы, и заглянули в глубь земных недр, но там не оказалось ничего интересного – только глинистая безобразная яма, которая уже стала заполняться водой. Боясь опоздать на работу, Ионин и Таисья прощально оглянулись на церковь, отчетливо белую в голубом обрамлении неба, на березку, притулившуюся возле нее и раскачивающуюся под верховым ветром, на суматошных человечков, – и заторопились в редакцию. Но им так и не суждено было добраться туда и проболтать остаток дня, потому что уже за квартал от Главной улицы повеяло удушливым знойным смрадом; они сперва подумали, что улицу асфальтируют и гарью воняет от укатанного асфальта, но с каждым шагом дышалось труднее, а в раскаленном воздухе заматывались обрывки пепла. У встречной напуганной старухи они спросили, что там такое, но она только слабо взмахнула рукой (дескать, и объяснить-то не успею, как конец света настанет), жалобно взглянула из-под слезящихся воспаленных век, прошла мимо в сиротливом сосредоточении человека, погруженного в безрадостные суровые мысли, и остренькая горбатенькая спина ее удалилась воплощенной укоризной. Продвигаться дальше было невозможно, и они решили, намочив у колонки свои носовые платки и обвязавшись ими, как респираторами, идти вдоль Главной улицы и, если удастся, где-нибудь пересечь ее. Расспрашивая прохожих, они наконец узнали, что церкви и даже часовни вознеслись по всему городу, иные очень высоко, так что едва различимы; что послан спасательный вертолет, но среди пострадавших много обморочных, которые еще не очнулись, а из очнувшихся не все желают спастись, и к тому же, церковные купола мешают летчику маневрировать; что на месте церквей везде образовались глубокие ямы, в одну из которых уже зарулил спяну шофер с молокозавода, отвозивший полторы тонны испортившейся ряженки в пригородный совхоз свиньям; что среди жителей, в особенности среди верующих и богомольных, опять, как и в прошлом году во время навозного дождя, распространяется паника, поэтому исполком отпечатал на ротаторе и расклеил специальную листовку, в которой все происходящее объясняется гипнотическими происками империалистов и причисляется к явлениям массового психоза, а граждан призывают соблюдать спокойствие и порядок; и что, наконец, – и это самое удивительное, – в сквере, посаженном более пятидесяти лет назад на месте разрушенной до основания Воздвиженской церкви, о которой теперь уже никто, кроме старожилов, и не помнит, зияет страшная дыра глубиной до центра земли, а из нее фонтанирует и разливается вниз по Главной улице расплавленная лава, – вот почему вокруг так жарко и копотно. Поговаривают, что церкви провисят до второго пришествия, а некоторые утверждают, что каждая – только до своего праздника: Сретенская – до Сретенья, Преображенская – до Преображенья и так далее; но точно никто ничего не знает, все ждут, когда они либо вернуться на грешную землю, либо вовсе исчезнут в воздушных, а иначе ведь ходить по улицам небезопасно – кто ее знает, может, ее ветром отнесет и она шлепнется прямо тебе на башку. Оставаться же дома еще страшнее, потому что если ты на улице, есть горизонтальный и вертикальный обзор и быстрые ноги, а дома и пикнуть не успеешь, как тебя задавит. На вокзале и на пристани сейчас народу не протолкнуться; многие, которые нервные и с непривычки или с большими претензиями, уезжают в чужие края,

спасая шкуру, но коренные логатовцы остаются, потому что они уже привыкли к странностям своего города, ко всем этим навозным дождям, камнепадам, суховеям, землетрясениям и закалились душевно. Группа энтузиастов, человек двадцать, даже вышла с лопатами закидывать одну такую яму, но власти остановили их, и решено было пока не закапывать ямы, а обнести их высоким глухим забором и на нем развесить наглядную агитацию. Все эти и многие другие любопытные подробности Ионин и Таисья узнали от словоохотливых прохожих, пока добирались до сквера, где фонтанировала лава. Зайдя с наветренной стороны, они вместе с другими зеваками с полчаса смотрели, как вязкая, огнисто-бордовая, вроде застывающего шлака, величаявая струя медленно, как клей из тюбика, выползала из земли и, не рассыпаясь, не разбрызгиваясь, оплывала, образуя дымящуюся лужу, которая с усилием густого мазута растекалась во всю ширину улицы, опоясывала, валила деревья и фонарные столбы, пломбирровала подъезды и подвалы и, застывая у краев кровавой коростой, текла вниз, к мосту через Логатовку. Ни Ионин, ни Таисья уже не спешили в редакцию, потому что их задержка в такой день была вполне извинительна; к тому же, большая часть следующего номера все равно будет посвящена обзору и истолкованию этих событий, поэтому материал, добытый ими из рассказов очевидцев, и собственные наблюдения, несомненно, пригодятся. Прежняя близость между ними отчасти восстановилась, как если бы они посмотрели какой-нибудь очень хороший фильм о жизни и любви – ну, хоть «Вестсайдскую историю» – и решили, что отныне и они станут любить друг друга так же искренне и бесстрашно; им вдруг захотелось жить широко, распоясанно, беззастенчиво на этой прекрасной земле, которая ежеминутно грозит разверзнуться и поглотить человека. Но чтобы вполне отвязаться от служебного долга, вполне распоясаться, Ионин позвонил в редакцию, и секретарша ответила ему, что все сотрудники разбежались посмотреть на диво.

– Ну что ж, никого нет! – весело сообщил он Таисье, которая, ради любопытства и озорства, тоже втиснулась в телефонную будку. – Пойдем?

– Куда? – спросила она задорно и вызывающе.

– Куда? На кладбище! – ответил он легкомысленно, угадывая, что она согласится, если он именно так, шутя, пригласит ее.

– Пойдем! – подхватила она, и они, волнуясь, словно дети, задумавшие опасную проделку, тихими травянистыми переулками отправились на кладбище, и только мысль о Катюше омрачала их нервическую веселость. А когда Таисья, чтобы вынудить Ионина признаться, кто же из них двоих ему больше нравится, спросила иронически: – А что он а скажет? – Ионин, простодушно обманываясь, как курильщик, который в воскресенье твердо решает, что с понедельника бросит курить, ответил:

– Ну, какое мне дело до этого? Я не настолько с ней близок, как ты думаешь. Иначе бы я...

Он замолк, придумывая, как бы поделикатнее отречься.

– Иначе бы ты что?..

Таисью раздражала его привычка недоговаривать.

– Иначе бы я искал встреч с ней, – промямлил он, как игрок, который, чтобы раздобыть денег, втридешева закладывает вещи.

– А разве вы уже не встречаетесь?

– Встречались дважды, а теперь все. Разошлись, как чинарики в луже! – опошляясь и злясь, ухарски ответил он.

– А что случилось? Поссорились?

– Да.

– Милые бранятся – только тешатся.

– У твоей квартирантки деспотический характер.

Больше они об этом не заговаривали: скользко.

К кладбищу принимал старый парк, который простирался на версту и заканчивался танцплощадкой. Именно в этом парке Ионин встречался с Катюшей, и оттого, что привел сюда Таисью, ощутил то ли грусть, то ли скуку. Ему было неприятно, что Таисья так легко согласилась пойти. «Боже, ведь никого не люблю! Скупой, черствый старик. Но сегодня вознеслись церкви, а завтра начнется какая-нибудь новая революция или, того хуже, гражданская война. Закружимся все, как щепки».

– Сядем здесь, – сказал он, когда они забрели в безлюдный уголок и увидели ветхую некрашенную скамью. Меланхолично крутя опалый кленовый лист, обволакивающе посмотрел на Таисью, она – на него, и в ту самую секунду, когда оба подумали: «Вот сейчас или никогда!» – потому что надо было либо заговорить о безразличном и разойтись, либо обняться, подчиняясь неумолимому влечению, как военачальник подчиняется сдержанному безмолвному ожиданию многотысячного выстроенного войска, которое, если промедлить, ринется в атаку без приказа или разбредется, – в эту секунду Ионин неуловимо пошевелил рукой, едва заметно передернул нервные пальцы (знак нетерпения), и Таисья в ответ чуть подалась к нему, и, слившись, смешавшись, их обоюдное движение уже помимо их воли закончилось в объятии, как в рукопашной схватке. Таисья неловко, как передовой солдат, который оглядывается, бегут ли остальные, уткнулась лицом в воротник Ионина, подумав, что, может быть, они этим и ограничатся, но почувствовала, что он ищет ее губы, и в ожидании закрыв, закатив глаза, словно курица, которую гладят по гребешку, на ощупь отыскала встречный колючий подбородок, а потом и губы, сперва неслиянные, чуждые, сухие, потом нераздельные, влажные, упоительные, и поцелуй длился, длился, длился, пока металась оборванная мысль, что и сейчас они так же далеки, как прежде. И чтобы выгнать, задавить, убить эту мысль, чтобы не видеть, разъединясь, в лице друг друга подтверждение этой мысли, они еще долго целовали друг друга в щеки, в нос, в затуманенные глаза, порывистость этих поцелуев выдавая за страсть...

– Я страшенькая, усатая... – сказала Таисья со вздохом.

– Не комплексуй. Усы у женщины – признак темперамента. Уйдем куда-нибудь?

Ему хотелось уединиться, словно собаке с костью. Такая настоятельная потребность.

– Куда? – спросила она, пригревшись на его груди под признательными ласками.

– В лес. Я знаю одно место: заброшенная мельница, а вокруг ни души, – мечтательно сказал он.

– Я тоже знаю это место. Пойдем!

Взявшись за теплые руки, чтобы не остыла близость, они отправились на автобусную станцию, но все билеты были распроданы, вся пристанционная площадь запружена беженцами, и о том, чтобы уехать, нечего было и думать. Тогда они, влекомые желанием, упрямее, чем пожизненно заключенный долбит последний метр подкопа, двинулись пешком, вышли за город, на попутном грузовике, заплатив три рубля болтливому шоферу, доехали до веселого белоствольного березняка и там высадились. Едва затих грохот грузовика, их окружила вечеряющая тишина. По пояс в траве они брели от шоссе до опушки и, по мере того как утопали в лесу, яснили, очищались, как омытые ливнем небеса, потому что здесь их никто не видел, не осуждал, не расторгал, и не надо было ни говорить, ни думать, ни поступать в расчете на посторонних. Хотя зной ослабевал и в воздухе свежело, от нагретой земли исходил дурманый запах разопревшей травы, в котором опьянело задыхалась грудь; даже неутомимый шмель, сморенный цветочной духотой, дремал в венчике колокольчика, дугой сгибая упругий стебель. И было кругом такое умиротворение, такое согласие и столь полный покой, что если бы капнуть в это растворенное благолепие хоть чуточку протестующей против смерти, трагической одушевленности, они разбрелись бы и растворились в нем. По крутому склону, заросшему седеньким дягилем, прямостоячие высокие стебли которого перевивались и путались в ногах, они спустились к безропотной речке, заключенной в курчавом ивняке, перешли ее по коровьему глинистому броду и на другом берегу, под ажурной сухой шепчущей сенью сосняка, рядом с огороженным стогом прошлогоднего сена сели на колкую траву и Ионин расстелил свой пиджак. Сперва они целовались под гомон листвы и шелест сухих хвойных иголок, потом, когда утомились, разделись, и, неприспособленно ежась во взаимных объятиях, странно белели под желтым солнцем на темно-зеленой траве их неприкаянные тела. Ионин представлял, как они выглядят со стороны (как те нищие, которых видел яснополянский любитель променадов у обочины дороги под кусточком?), но не стыдился и не раскаивался; он вообще как бы не присутствовал при сем. Таисья оказалась славной, желанной и чуткой женщиной...

Он откинулся навзничь на щетинистую траву, подумал, что сейчас прохожие муравьи облепят, исщекочут его, и приготовился стерпеть, потому что у него не было сил передвигаться ближе к пиджаку. Ласковое вечернее солнце сушило и ветерок обдувал его разгоряченное крупнопористое тело, неуютное без одежды, и хотелось дремать, пригретому и пустому. Он обнял Таисью, прячась в ее телесное тепло; она повернулась к нему разалевшимся победоносным лицом и с покровительственной нежностью, как мать – своего ребенка, прижала к себе, а он подумал, что теперь у него есть любовница. Такая мужская мысль. Остыв, лениво отблагодарив друг друга бесчувственными поцелуйными чмоканиями, они оделись. «Солнечный свет слишком детализует, – помыслил Ионин о случившемся. – В спальне с розовой подсветкой совсем другой колер». Вечерние тени пересекали открытый лужок. На обратном пути разговаривали о пустяках и почти ссорились, как два ученых, в очередной раз осрамившиеся, изобретая вечный двигатель. Счастливым днем обладания!

В сторону Логатова с воем двигались могучие военные грузовики и бронетранспортеры с солдатами.

На следующее утро Таисья принарядилась тщательнее обычного: хотела закрепить победу. Атеистическая голова, она не знала, что такое грех; для нее любая связь с мужчиной, который ей хоть немного нравился, была торжеством. Но она опасалась, что в случае с Иониным все гораздо сложнее, что она опрометчиво быстро уступила. Поэтому она решила подпустить холоду, чтобы подморозить слишком разгоряченного любовника: ведь для большинства мужчин овладеть женщиной не то же ли, что разочароваться?

Но ее расчеты не сбылись. Она нарочно припозднилась на работу, что понервировать Ионина, но оказалось, что редактор с утра отправил его в дальний колхоз. Что-то там насчет льна. Лен, мой лен, кругом цветущий лен... Это был такой удар, что Таисье поневоле взгрустнулось. Она села писать отчет о вчерашних происшествиях в городе, а сама прислушивалась к шагам посетителей на лестнице, пытаясь определить, не вернулся ли Ионин. Пингвина, когда тот стал с ней заигрывать, она попросту высмеяла; он обиделся и ушел. Она отказалась от жалкой драпировки в надменность, потому что не перед кем было привередничать. Ионин мог волочиться за другими женщинами с той же легкостью, как и за нею; этого было достаточно, чтобы вообразить, что он ее не любит. Но она докажет, что чего-нибудь да стоит, – пусть только он появится в редакции. Она запрется в кабинете, сошлетя на дела; никаких словоизлияний, охоломи, дружок! В воображении она проигрывала эти мысли десятки раз, обновляя и подкрашивая подробностями, так что, когда Пингвин перед обедом потребовал отчет, на листе значилось всего несколько слов: «Вчера в нашем городе...» Эта мука длилась весь день, и только к вечеру редакционный шофер Костя сказал, что высадил Ионина возле его дома, на Нижней улице.

Таисья вернулась в свой особняк разочарованная и злая. Сухарь! Мог бы заглянуть и в редакцию. Черствый, неблагодарный человек!

## 9

Она не знала, что как только Костя уехал, Ионин опрометью бросился на фабрику, чтобы успеть до конца рабочей смены объясниться с Катюшей. Вопрос, кто дороже, он для себя окончательно решил: она, Катюша. Хватит сидеть между двух стульев, пора выбирать, иначе недолго и запутаться. Он надеялся – и не напрасно – что Таисья еще не успела или, из страха потерять его, не захотела спесивиться перед жилицей своей пирровой победой. Разочарованно вступил он в крепость, которая сдалась так быстро.

Его искренняя, пылкая, его смиренная мольба, его даже несколько подозрительная раскаянная горячность затронули Катюшу, она удовлетворилась бы и не столь горячим покаянием, ибо, рассорившись с обоими соискателями сердца, сидела у разбитого корыта. Ионин удачно, тонко намекнул, что Таисья ему совсем не нравится (свежее впечатление), что выпил и прогулялся он с ней единственно из... как бы это сказать? – из жалости, что ли: уж очень она этого хотела, а он, поразмыслив, решил, что не погрешит против совести, если поближе узнает «логатовскую аферистку». А в том, что Таисья из ущербной неполноценности перед такой красавицей, как Катюша, нахвастала, наплела небылиц, навдумывала чего и не было никогда, – в этом он ничуть не виноват: такой уж ущемленный характер. В конце концов надо быть ослом, чтобы не видеть, кто из них двоих лучше, красивее, умнее. Сегодня он нарочно в колхоз уехал на весь день, чтобы только не встречаться с ней. А что касается лживых наговоров и хвастовства, то Таисья спец по этой части; не исключено, что она еще раз попытается вбить клин между ними...

Такая интерпретация известных событий, такой тип. Согласно ли с нравственностью, бог весть.

– Не могу жить без тебя.

Она, ласково:

– Сумасшедший! Ну хорошо, хорошо, встретимся сегодня же, я только зайду домой поужинаю и переоденусь.

Вечером злая, нахохленная Таисья слышала из-за стены веселое мурлыканье квартирантки, а потом увидела из наблюдательного окна, как, легкая, стройная, она направлялась через скверик. Таисья ревниво догадывалась, что причина веселости может быть в Ионине. Во всяком случае, Катюшу кто-то любил, потому что женщины с бухты-барахты не поют. Это было веселое пенье. А примерно через полчаса усидчивая Таисья уже знала, кто именно любит Катюшу, и у нее немного отлегло от сердца.

10

Вперед, вперед, моя пошлая история!

Дело в том, что Ходорковский придерживался принципа последовательной непреклонности только в среду, да и то с трудом. В четверг к вечеру его холостяцкая нервная система распалась, растеклась, как кристаллическая решетка сахара, перегнанного на сироп, и, липкий, густой, не похожий ни на жидкость, ни на твердое тело, Ходорковский отправился к Катюше сам. Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе.

В темном тесном коридоре он замешкался, не зная, в которую дверь стучать. Одна из них оказалась заперта, и, исчерпав возле нее свою решимость, он вернулся на крыльцо, чтобы еще раз прорепетировать слова, которые сейчас скажет. Смысл был тот, что пощечина не отменяет ранее назначенного свидания. Конечно, лучше бы еще подождать, но раз уж пришел, надо действовать. Ведь может быть, что и вторая дверь заперта; тогда он просто уйдет, да и все...

На стук никто не ответил. Он открыл дверь и оказался на кухне – и опять перед дверью. Новая преграда поубавила храбрости; тем не менее он снова постучал и вошел словно прыгнул в ледяную воду – зажмурясь.

Печальная рыжеватая женщина вышла навстречу из спальни, задернула за собой желтую портьеру и вопросительно уставилась на него.

– Простите. Ионин не приходил сюда, Александр Ионин?

Он сообразил, что, спросив о второстепенном, надежнее укроется от излишнего любопытства.

– А почему он должен сюда прийти? – надменно спросила Таисья.

– Видите ли, мне сказали, что он здесь бывает... – сконфуженно пробормотал Ходорковский.

– Кто это вам сказал?

– Сказали... – повторил он сердито. Этот допрос бесил его. – Вам что, трудно ответить?

– Не прежде, чем в ы мне ответите, кто вас сюда послал, – настаивала Таисья. – Вас неправильно информировали. Налево по коридору есть еще одна дверь, туда и стучите.

– Она заперта.

– В таком случае ничем не могу вам помочь.

Таисья села, давая понять гостю, что разговор окончен.

Рассерженный ее грубостью, Ходорковский вышел.

Секунду Таисья сидела неподвижно, ощущая, как наваливается прежняя тоска и прежние сомнения; потом вскочила и бросилась вдогон, догадываясь, что незнакомец сказал не все, что мог, и намереваясь выведать тайну его визита.

К счастью, он замешкался в коридоре. Ни слова не говоря, Таисья подергала дверь, хотя знала, что она заперта, и сказала, словно впервые в этом убедилась:

– Да, закрыто. А зачем он вам нужен?

– Он пригласил меня и дал этот адрес, – солгал Ходорковский, соучастно наблюдая за ней и подумав вдруг, что если Ионин действительно нагрянет сюда, придется выдержать еще одно неприятное объяснение. – Ну, ладно. Извините, я пойду...

– Постойте. Он здесь не живет. Но если он вам нужен, я дам его адрес. Улица Нижняя, дом 51; квартиры не помню, но в подъезде есть списки жильцов.

– Спасибо. – Ходорковский оценил доверительность и понял, что теперь, пожалуй, можно спросить и о главном. – Видите ли, мне, собственно, даже не он нужен, а Екатерина Малакова; то есть, они оба мне нужны...

– С этого и надо было начинать, – с поразительной прямоотой сказала Таисья. – Я ведь чувствую, что вы вилаете. Она недавно была дома, но ушла... Странно, что она вас не дождалась.

– У меня к ней неожиданное дело. – Ходорковский отклонил Таисьины намеки. – Срочное.

– Ну, если срочное, – недоверчиво усмехнулась Таисья, – я могу вам кое-что посоветовать. Прямо отсюда идите в парк, где танцплощадка; там вы их наверняка найдете. Обоих. Ну, а если все-таки не найдете, я передам им, что вы приходили. Кто приходил-то? Что передать?

– Ничего... Спасибо. Я сам разыщу их, – пробормотал Ходорковский и спустился с крыльца расслабленно, как космонавт с лунного пригорка.

Таисья пристально наблюдала за ним. Похоже, ее жилища погналась за двумя зайцами. Теперь надо было только сообщить Ионину об этом. А впрочем, надо ли? Убедительных доказательств у нее не было; следовало подождать, как развернутся события.

## 11

Катюша возвратилась поздно ночью. Свидание на этот раз обошлось без ссор, потому что оба чувствовали себя виноватыми, ни словом не обмолвились об интрижках и были как никогда спокойны. Каково же было удивление Катюши, когда она узнала, что приходил Ходорковский. Разумеется, Таисья предала ее, выболтала решительно все, что знала и чего не знала. И вообще, в последнее время она как-то странно обращается с ней – с какой-то превосходственной издевкой, словно с дурочкой. Впрочем, может быть, приходил совсем не он. Не похож он на «мямлю» и «шизика», обрисованного Таисьей. Черт дернул ее за язык! Теперь Ходорковский наверняка стушует.

– Да я что, я – ничего! – с усмешкой оправдывалась Таисья. – Я ведь думала сделать как лучше. Зачем обманывать парня? Пусть уж лучше знает, что у него нулевые шансы. Любопытно, куда это ты ходила?

– А тебе что за дело? – огрызнулась Катюша.

– Вот я расскажу завтра Ионину-то... – притворно пригрозила Таисья. – А может, и не расскажу ничего: он теперь за мной приударяет, а из-за тебя только расстроится...

«Конечно, ясно, что он там, в своей редакции, волочится за ней, иначе бы она не распускала хвост, – думала Катюша. – Ну и пусть! Я все прощу ему...»

Таисья была слишком умна, чтобы болтать. Зачем компрометировать себя? Ионин и без того не раз уже упрекал ее в сплетничестве. Да и действительно ли этот парень влюблен и пользуется взаимностью? Ведь возможно, что он и впрямь приходил по «срочному» делу. А! какое ей дело до всех до них?!

Она включила магнитофон и долго слушала «Битлз» и «Роллинг стоунз».

## 12

На следующий день, в пятницу, предполагая худшее, чтобы не разочаровываться, как в прошлый раз, Таисья встретилась с Иониным – настороженно, мнительно, сухо, как ни в чем не бывало. Каждый из них закрепился на исходных позициях агрессивной самостоятельности, – агрессивной потому, что они еще надеялись покорить друг друга.

Но как только, переглянувшись, перемолвившись, они убедились, она – что ценится не ниже прежнего, а он – что не разочаровал ее, они быстро, тепло и свободно сошлись вновь. О чем бы ни говорили, улавливали подтекст – обещание будущих наслаждений, будущего счастья. В две минуты Таисья выболтала, что раскошеляется на установку парового отопления, что в Москве некий ее поставщик раздобыл для нее дубленку за пятьсот пятьдесят рублей,

что вчера она ловко отшила Пингвина, что в городе все еще ждут мессию, хотя уже и лавовый поток в сквере иссяк, а Ионин понимал, проявляя симпатические чернила пустых слов, что Таисья обещает ему райскую жизнь в особняке, если он на ней женится, сберегательную книжку, тело, государственный ум и сынишку Андрейку от первого брака впридачу. Над этим стоило подумать. Но именно потому, что все это предлагалось и нахваливалось, он сомневался в ценности, неподпорченности товара.

– Богатая ты у нас невеста... – сказал он, юродствуя, как нищий перед царем: бахвальство Таисьи его сместило. – Блажен муж, на иждивении жены живущий. А мы в драных пальтишках ходим, дубленки нам не по плечу...

– Хочешь, и тебе достану?

– Благодарю. Боюсь, как бы дубленую личину с лицом не спутать.

– Причем здесь это? Какой ты резонер, Ионин. Хорошо одеваться никому не возбраняется. Судят по одежке. Сейчас, если хочешь знать, человек без дубленки – третьесортный человек, его в порядочное общество не пустят, будь он семи пядей во лбу. Новая олигархия.

– Так-то оно так. Да ведь все помрем, как бы ни одевались. Денег-то у тебя куры не клюют, а в душе вечная озабоченность – быть, как все. Что же это за жизнь? Ты лучше скажи мне вот что: ты – это ты или княгиня Марья Алексевна? Что-то нынче катастрофически мало личностей, а все больше угодники, доставалы...

– Фу, какой ты!.. Пауперизм проповедуешь в наши-то меркантильные времена? Я вовсе не о том...

– А о чем же? Ну, о чем? Давай-ка начистоту. Я вообще люблю начистоту, поэтому никто со мной не водится.

– Давай-давай, психоложествуй, заноза... – неохотно поддакнула Таисья: разговор «начистоту» ей не нравился; мало того, что Ионин оспаривал ее мысли – он еще намеревался разоблачить ее, вместо того чтобы сказать несколько ласковых слов, которых она ждала. Это главный недостаток в нем: ковырянье вместо приятия.

– Признайся, – ковырялся он, – тяжело тебе живется одной? Замуж хочется?

– Противный же ты тип, Ионин. Почти хам. Я ее теперь вполне понимаю, бедняжку: неприятно, когда тебя анатомируют, выискивают что-то, чего в тебе нет.

– А я розановец, обскурант. Все в человеке есть, только не во всем он даже себе признается, – расходился Ионин. – А мне надоел этот маскарад. Разумеется, если срывает маску, значит – «противный тип».

– А нужно ли срывать маску-то? И потом, я ведь как-никак женщина, галантерейная барышня. Мне свойственна меркантильность, каюсь, это так. Ну и что?

– С тобой невозможно спорить: только собирался вернуть тираду, а ты уже уступила.

– Уступчивость, говорят, женская добродетель, – усмехнулась Таисья. – А ты прав: я действительно не совсем счастлива. Поэтому мне всех хочется убедить в обратном.

– Ты славная женщина, Таисья Михайловна. – (Наконец-то, дождалась!). – И мне тревожно за тебя. Бросай ты эту подпольную возню с иконами, с дефицитом... Долго ли до беды!

– Эх, Саша, если бы у нас поощрялась предприимчивость... Андрейка не должен знать нужды. Если б ты видел, как он рисует. Я отдам его в художественную школу.

– Хочешь, я отвезу его рисунки в Москву?..

И так далее, и так далее.

– Запри дверь, – дрожащим шепотом приказала Таисья, когда Ионин подошел к ней.

– А если кто постучит? – пытался возразить он.

– Все равно они догадываются: позавчера Костя видел нас *там*...

– Где??

– Да нет же, в парке...

Ионин запер дверь и с тоской и сладостью плененного зверя, которому у наполненной кормушки пригрелись родимые дебри, ощутил, что это сильнее его и что ему действительно все равно теперь...

13

Вечером после работы, когда они улавливались о встрече в выходные дни, Ионин вспомнил, что собирался пойти на рыбалку. Таисья пыталась его отговорить, но потом подумала, что настаивать ни к чему и неблагоприятно, а то он решит, что она без него и двух дней не может вытерпеть. А Ионин думал о т о й, о другой. Повернутый человек, не туда повернут и вектор. Как бы так сделать, чтобы Таисья не узнала (доподлинно, не застала), что он по-прежнему встречается с Катюшей. Наконец они расстались, условившись, если рыбалка не состоится, увидятся в субботу.

В пятницу вечером Катюша вела себя необычайно самоуверенно, несговорчиво, так что он даже испугался, не проболталась ли Таисья. Но в этом случае встреча вообще бы не состоялась. Правда, Таисья говорила про какого-то незнакомца, который хоть и спрашивал про него, но, оказалось, приходил к Катюше. Судя по описанию, это мог быть только Ходорковский, а он с Катюшей как будто не знаком. Хотя тоже странно, почему он разыскивал его там, а не на Нижней улице, да еще по неотложному делу.

Ионин не знал, что строптивость Катюши вызвана именно этим визитом Ходорковского и письмом, которое она получила от него в пятницу. Он не догадывался, что в четверг вечером, когда болтал с Катюшей на заветной скамейке, он нажил врага, непримиримого, который никогда не согласился бы на мирное с ним сосуществование, как выражаются политические комментаторы.

Если бы не сердечное влечение, Ходорковский, возможно, и признал бы, что Ионин равноценный ему человек. Привыкший первенствовать, он воспринял сообщение Таисьи очень болезненно. Ссылаясь на занятость, перестал посещать Синевых и Окудовича, чтобы ненароком не встретиться там с Иониным. Старательно презирал Катюшу, но ее недоступная красота дразнила его днем и ночью. Он раскаивался, что смалодушничал, причем дважды: смолчал, когда получил оплеуху, и приплелся, как побитый пес, на дом, хотя самолюбие бунтовало. Хорошо, что хоть не застал. Именно поэтому и не удостоился ответного чувства, что не уберечь свое достоинство от поругания. Ну хорошо же, он еще покажет ей. Он не привык отступать, это не в его правилах. Мы еще посмотрим, кто кого!

Но было в его чувстве столько оскорбленного самолюбия, что он не мог ждать. Ждать – занятие заgrabное. В тот же день после разговора с Таисьей он написал Катюше письмо. Конечно, это можно было расценить как очередное малодушие. Но, во-первых, письмо было написано сдержанно, с достоинством, – не письмо, а вызов на дуэль. И, во-вторых, его ведь можно было и не отправлять. Ну – написал, ну – излил свое негодование, ну и что? Пусть лежит себе. Хотя... вот если бы отправить его, то, наверно, она бы непременно как-нибудь отреагировала. А что, если назначить ей свидание? Если не придет, то все – надо завязывать; как говорится, не клюет, сматывай удочки. Наплевать и забыть! А если придет... Во всяком случае, все равно надо что-нибудь предпринимать.

Наконец, после долгих мучений, забрав первоначальный, амбициозный (с достоинством) вариант, Ходорковский отправил (отнес и в почтовый ящик, приколотенный к ее калитке, отпустил) письмо следующего содержания. «Екатерина! – писал он. – Наше знакомство было слишком кратковременным, чтобы вы имели основание всерьез отнестись к этому письму. И тем не менее чувство, внушенное вами, настолько сильно, что вынуждает меня написать вам, не питая при этом никаких иллюзий относительно взаимности и никаких надежд на то, что вы мне ответите. Мне необходимо извиниться перед вами; не зная вас близко, я тем не менее не взял в расчет то обстоятельство, что – поскольку вы совершенно другой человек, со своим складом характера, со своими воззрениями на жизнь, – вы вправе расценить мои действия как грубые и бестактные. И я справедливо наказан за это. Мне хотелось бы, чтобы недо-разумение, имевшее место вследствие моей, так сказать, недальновидности, не стало причиной к прекращению нашего знакомства. Поверьте, что и ошибившись я не имел злого умысла и теперь крайне заинтересован в том, чтобы вы предоставили мне возможность заглавить вину и обелиться в ваших глазах. Не смею настаивать на этом, а лишь обращаюсь к вашему великодушию, которым вы, без сомнения, наделены в избытке. Если вы сочтете невозможным возобновление наших отношений ввиду каких-либо непреодолимых препятствий, я готов безоговорочно подчиниться вашему решению и обязуюсь со своей стороны в дальнейшем не настаивать на этом. Еще раз примите мои искренние извинения. Максим Ходорковский.

P. S. Вы уже, наверно, знаете, что я приходил к вам домой?»

Такое письмо. Что-то неуловимо знакомое из эпистолярного жанра, из французов. Из галантного Дюма-пэра.

Письмо обнаружилось в ящике в пятницу днем. А в пятницу вечером, как уже известно внимательному читателю, следящему за перипетиями отношений в этом четырехугольнике, Катюша опять поссорилась с Иониным: несговорчивость, строптивость. Эти ссоры ее совершенно удручали: в понедельник – из-за Таисьи, в среду – из-за пуговиц, а на этот раз из-за рыбалки; казалось, что они воюют по любому поводу. Она не доверяла Ионину, а он – ей, и неизвестно было, кто первый начал эту утомительную распрю. Получив письмо Ходорковского, Катюша убедилась, что ей помогут выдерживать круговую оборону против всего света. Ионин, укрепив связь с Таисьей, тоже знал, на чьей груди отдохнет от ран.

Письмо сперва озадачило, а потом развеселило ее. Это было похоже на то, как если бы градоначальник уже подписывал указ о сдаче города и увидел из окна ратуши, что противник снимает осаду. Она истерически расхохоталась, бросилась на кровать и, дрыгая ногами, хохотала несколько минут. С ней это случалось, нечто кликушье. Таисья, услышав через стену ее смех, мрачно подумала о плохих водевильных актрисах, которые вечно играют на публику. Но она ошибалась. Как раз при мысли, что хозяйка ее услышит, Катюша перестала смеяться и призадумалась.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.